

ГИЮРИЯ АРХИТЕКТОРА



Анелия Кутузова

18+

Анелия Кутузова

Гидрия архитектора

«Автор»

2026

Кутузова А. Ю.

Гидрия архитектора / А. Ю. Кутузова — «Автор», 2026

Архитектор Марк Кутузов строит небоскрёбы из бетона и расчётов. Его мир идеален: прямые углы, точные сметы, никаких трещин. Но в день УЗИ их с Леной нерождённой дочери он находит в стене прабабкиной квартиры бронзовую гидрию времён Фермопил. За этим артефактом скрывается древний долг: семь божественных семян любви должны прорасти сквозь бетон его жизни. Купидон-юнец становится девушкой Иридой в баре «Сквозняк», Гименей — сантехником Петровичем, а Агапэ ждёт в Голосовом овраге. Это роман о том, как вечные боги спускаются по лестницам типовой многоэтажки, чтобы напомнить человеку: глина помнит руки лучше, чем бетон — форму. История о браке после пожара страсти, об отцовстве без гарантий и о том, что мифология живёт не в книгах, а под нашими ногами. «Гидрия архитектора» — это магический реализм московской прописки, где каждый кирпич хранит память о тех, кто был до нас.

© Кутузова А. Ю., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Часть первая. Семя первое: Пепел и пыль	5
Часть вторая. Семя второе: Угар	13
Часть третья. Семя третье: Глина	20
Конец ознакомительного фрагмента.	22

Анелия Кутузова

Гидрия архитектора

Часть первая. Семя первое: Пепел и пыль

Марк ненавидел несовершенство в промышленных масштабах. Как архитектор-урбанист, он привык к тому, что бетон льётся ровными слоями, а линии на чертеже сходятся с погрешностью не более миллиметра. Но квартира прабабки Зои — этот удушливый склеп в сталинской высотке на Котельнической — плевала на ГОСТы.

Здесь пахло засохшим фикусом, нафталином и старыми газетами. Пахло так, словно кто-то тщательно консервировал запах 1974 года и забыл вскрыть банку. Пыль лежала везде — на подоконниках, на люстре с хрустальными подвесками, на корешках книг, которых никто не читал уже, наверное, лет тридцать. Она была не обычная московская пыль — серая, безвкусная, — а какая-то особенная, густая, пахнувшая ушедшей жизнью, как пепел от сигареты, которую докурили при Брежнев.

Марк стоял в прихожей и чувствовал, как воротник его кашемирового пальто собирает эту пыль, как магнит — опилки. Ему было физически плохо. Не от грязи как таковой — он видел грязь на стройках, — а от хаоса, который эта грязь олицетворяла. Здесь ничто не было выровнено, ничто не соответствовало допуску, ничто не подчинялось логике несущих конструкций. Пол скрипел под ногой, словно жалуясь. Обои отслаивались от стен лоскутами мёртвой кожи. Потолок нёс на себе следы четырёх — нет, пяти — слоёв побелки, каждый из которых скрывал трещину предыдущего.

И всё-таки... Марк поймал себя на том, что его профессиональный глаз зацепился за лепнину в дверном проёме. Советский ампи́р — массовый, фабричный, — но здесь кто-то вручную доработал капители. Пальцы сами потянулись к холодному гипсу, ощупывая завитки аканта. Рука мастера. Не штамповка — рисунок. Человек, который лепил этот орнамент, понимал ритм. Это было хорошо. Марк отдернул руку, будто обжёгся, и раздражённо одёрнул пальто.

— Марк Сергеевич, вы бы респиратор надели, — проскрипел Петрович, местный сантехник, похожий на грустного сатира из-за клочковатой седой бороды и одного мутного глаза, затянутого плёнкой, которая придавала ему вид вечного подмигивания. — Тут пыли столько, что, если чихнуть, мы все вылетим в окно 1953 года постройки. Я тут трубы менял при Брежнев, так они честнее были. Чугун — он, знаете, как хороший мужик: ржавеет, но держится. А эта современная пластмасса — она как жена-предательница: гладкая, красивая, а на морозе лопаётся.

— Снимай всё до перекрытий, — бросил Марк, брезгливо стряхивая невидимую пыль с лацкана. — И эти антресоли вскрой. Там какой-то хлам эпохи мамонтов.

Петрович крякнул, подмигнул своим единственным зрячим глазом (второй, мутный, подмигивал сам по себе, независимо от воли хозяина) и полез за ломиком. Лестница старая, винтовая, скрипела под его весом, как деревенский пол в избе, где никто не живёт. Через минуту сверху рухнуло облако трухи — коричневой, мелкой, пахнувшей тлением и старой бумагой. Вместе с трухой посыпались: пожелтевший конверт без марок, дерматиновый чемодан с порванной ручкой и номер старого журнала «Огонёк» с фотографией Гагарина на обложке. Конверт спланировал медленно, как лист осенью, и приземлился прямо на макушку Марка.

— О, привет от предков! — заржал Петрович сверху, свесив бороду. — Налог на наследство! Там, кстати, ещё паутина — можно на ёлку повесить вместо дождика.

Марк снял конверт с головы. Плотная бумага кремового цвета, чуть шероховатая на ощупь, как замша. Ни адреса, ни марок. Запечатан сургучом — красным, потрескавшимся, с оттиском, который давно стёрся в бессмысленное пятно. Он подцепил печать ногтем. Сургуч крошился, как сухой сыр.

Внутри лежали два предмета.

Первый — кожаный дневник без единой даты на обложке. Потёртая кожа цвета жжёного сахара, медные уголки, потемневшие от времени. На внутренней стороне передней крышки — инициал «И.К.», вырезанный тонким лезвием, явно не печатью, а от руки, с наклоном влево. Марк провёл подушечкой большого пальца по буквам. Глубокие, уверенные. Человек, который их вырезал, не сомневался в своём праве оставить след. Иван Кутузов. Прадед. «Писатель-изгнанник», как называла его мать — с интонацией, в которой почтение мешалось с раздражением.

Второй предмет — семь сухих, почти прозрачных лепестков пиона, лежащих на картоне проложенных калькой и перетянутых выцветшей бечевкой. Они были белыми — первый, самый крупный, ещё сохранял цвет слоновой кости. Остальные темнели по нарастающей: второй — желтоватый, третий — серый, четвёртый — почти коричневый. Они пахли пылью и чем-то сладко-гнилостным, как забытое варенье в погребе, куда не спускались зимой. Марк осторожно понюхал и поморщился. Запах был навязчивым, липнул к ноздрям.

Телефон завибрировал в кармане пальто. Звук был грубым, неуместным — как будильник в Храме. Лена.

— Да, солнце, я скоро... — Марк прижал телефон плечом к уху, разглядывая дневник.

— Что значит «ты обещал»? — голос Лены был не злым, а ядовито-точным, как скальпель. — Я стою посреди кухни, и твой «призрак коммунизма» только что нарисовался на УЗИ-снимке размером с фасолину, Марк! У него уже есть нос! Маленький, картошкой, как у тебя. Приезжай немедленно. Нам нужно выбрать цвет стен в детской. Ты же любишь прямые углы — вот и прикладывай их к делу.

Марк закрыл глаза. В животе — не в груди, не в голове, а именно в животе, где-то под пупком — предательски потеплело. Это тепло не имело отношения к радости. Оно было ближе к тому чувству, которое испытываешь, стоя на краю крыши и глядя вниз: не страх падения, а осознание, что земля — не так далеко, как хотелось бы. Ребёнок. Фасолина с носом картошкой. Кто-то, кто будет смотреть на него снизу-вверх и ждать, что он знает, что делать.

Он не знал, что делать. В этом была вся проблема. Марк Сергеевич Кутузов, сорок два года, архитектор, человек, умеющий рассчитать ветровую нагрузку на стоэтажную башню с точностью до третьего знака, — не имел ни малейшего представления, как держать на руках существо, которое уместается на одном экране УЗИ. Стены он умел строить. Окна — подбирать. Двери — расставлять так, чтобы поток людей шёл естественно, без заторов. Но как расставить стены вокруг жизни, которая ещё даже не родилась?

Утром, в машине, по дороге сюда, он сказал себе: «Я справлюсь. Это как объект — нужно только составить план». Это была ложь, и он знал это, но ложь была удобной, как старые туфли. Сейчас, стоя по колено в чужой пыли, с дневником мёртвого прадеда в руках, ложь вдруг показалась смешной.

— Я стою посреди стройки века, — сказал он в трубку, пытаясь, чтобы голос звучал ровно. — Здесь призрак коммунизма дышит мне в затылок. Дай мне час.

— Один час, — отрезала Лена. — Потом я звоню в полицию, в МЧС и твоей матери. Именно в таком порядке. И да — я уже купила образцы краски. Их семь. Как в радуге. Потому что я не знаю, какого пола твой фасолевый геноцид, а красить стены в унисекс — это преступление против здравого смысла. Приезжай и выбирай. Или я покрашу детскую в чёрный, и мы воспитаем гота.

Связь оборвалась. Марк усмехнулся — вопреки себе, вопреки страху. Лена всегда умела сделать так, чтобы тревога отступала на шаг. Не потому что она говорила правильные слова, а потому что она говорила их с такой яростной уверенностью в завтрашнем дне, что сомневаться рядом с ней было стыдно.

Он открыл дневник наугад. Почерк был летящим, нервным, с наклоном влево — как инициал на обложке. Совсем не советский. Скорее — начала века, дореволюционный, когда буквы ещё помнили, что они — картинки, а не значки.

«Они думают, что строят стены. Глупцы. Мы всегда строим клетки для времени. Сегодня привезли песок. Смешной рыжий мальчишка на телеге сказал, что это песок из Фермопил. Я спросил, знает ли он, кто такой Леонид. Он ответил, что это марка оливкового масла. Афины мертвы даже в мешках с песком. Но стена всё равно будет стоять. Она переживёт и меня, и мальчишку, и масло, и память о царе. Потому что глина помнит руки, а руки — это единственное, что остаётся от человека, когда слова сгорают».

Марк перечитал последнюю фразу. «Глина помнит руки». Это написал человек, который месил глину сам — не покупал кирпич, а именно месил, руками, из грязи. Зачем? Прадед Иван, «писатель-изгнанник» — каким он был? Мать говорила: странный, замкнутый, целыми днями пропадал в каком-то сарае, где топил печь и лепил черепки, которые никто не видел. Бабка Зоя ворчала, что он переводит хорошую глину на «бесовщину».

Марк перелистнул несколько страниц. Почерк менялся — становился то крупнее, то мельче, будто рука дрожала или, наоборот, торопилась. На одной странице чернила были почти вдавлены в бумагу — так пишут, когда давишь пером, словно хочешь пробить страницу.

«Нюра не пришла сегодня. Третий день. Она сказала, что уехала к сестре в Тулу. У сестры в Туле нет телефона, но есть муж, который смотрит на мою жену так, как будто она — последний автобус. Я знаю. Я всё знаю. Но молчу, потому что, если я открою рот, из меня выйдет не слово, а крик, который снесёт крышу сарая. Глина — единственное, что слушает меня не перебивая. Сегодня обжёт черепок. Треснул. Хорошо. Значит, был готов».

Марк захлопнул дневник. Сердце стучало чаще, чем следовало. Он прочитал две короткие записи — и уже чувствовал Ивана, как чувствуют соседа через стену: по шагам, по звуку падающей книги, по запаху его кухни. Прадед не был «странным». Он был одинок. Он жил в одном доме с женой, которая, судя по всему, изменяла ему, — и месил глину, потому что глина, в отличие от людей, не предаёт.

Телефон снова завибрировал. Марк машинально убрал дневник во внутренний карман пальто, где кожа обложки прижалась к груди, как второе сердце — тёплое, тяжёлое, чужое.

— Хозяин, — голос Петровича вырвал его из транса. — Вы бы глянули сюда.

Сантехник стоял у вскрытой стены между кухней и гостиной. Слой дранки был ободран, обнажая кирпичную кладку — старую, дореволюционную, с клеймом мастера на нескольких кирпичах. Но за кладкой, в нише, заложенной не раствором, а грязью и обломками черепицы, лежал предмет, которому было абсолютно нечего делать в московской квартире XX века.

Это была бронзовая гидрия — небольшой кувшин для воды высотой ладони тридцать, покрытый густой зеленой патиной. Форма была безупречной, хищной — тело сосуда раздувалось, как грудь ныряльщика перед прыжком, ручка изгибалась упругой дугой, венчик слегка отогнут наружу, как ухо, прислушивающееся к тишине. Такие вещи должны лежать в Британском музее под стеклом с датчиком влажности, а не соседствовать со счётчиком электроэнергии, на котором крутился диск, отсчитывая копейки за свет, потреблённый мёртвой старухой.

Марк присел на корточки. Профессиональная привычка — сначала зафиксируй, потом трогай. Он достал телефон, включил камеру, сделал три кадра: общий план ниши, крупный план сосуда, крупный план клейма сбоку. Руки слегка дрожали, но кадры вышли чёткими.

— Вызывай полицию, — севшим голосом сказал Марк.

— Зачем? — искренне удивился Петрович. — Хорошая кастрюля. Можем сдать на цветной металл, на обои в детскую хватит. Мне тут Аликова жаловалась, что у неё на кухне кафель отстаёт — я говорю: Алёна, кафель, он как мужик, если отстаёт, значит, прирос не туда.

— Это археологическая ценность! Её украли. Или спрятали. Откуда античная гидрия в сталинке?

— Эх, молодежь, — Петрович почесал пузо. — Украсть можно то, что плохо лежит. А это, похоже, просто жило тут раньше вас. Видите, царапину сбоку? Похоже на букву «пси». Древние греки её рисовали, когда хотели обмануть смерть. Типа заклинание такое. Мой дед по отцу грек был, рассказывал. Хотя отец мой утверждал, что дед был цыган, но верить старикам — себя не уважать. Бабка, правда, говорила, что он и не грек, и не цыган, а просто человек, который умел говорить с трубами. У него все трубы в доме пели, когда он на них дул. Не смейтесь — дул, я серьёзно.

Марк не слушал. Он достал из кармана визитку — потёртый прямоугольник картона с номером знакомого археолога из ГИМа, Володи Зайцева, с которым они как-то пили на конференции, обсуждая судьбу фундаментов в историческом центре. Набрал номер. Гудки — длинные, пустые. Один, два, три. Никто не брал трубку. Володя, наверное, был в экспедиции — август, сезон.

Марк положил телефон. Потом снова взял. Набрал номер музея — тот, который помнил наизусть, по старой привычке. Автоответчик: «Вы позвонили в Государственный исторический музей. В рабочее время...» Август. Все в отпусках. Все на раскопках. Все — где угодно, только не здесь, в пыльной квартире на Котельнической, где мёртвая бронза смотрела на него глазком патины.

Марк взял кувшин в руки. Осторожно, двумя руками, как берут младенца или неразорвавшийся снаряд. Холодный металл обжёг пальцы — не температурой, а инерцией.

Сосуд размером с литровую банку весил килограмма три, не меньше. Марк был архитектором; он знал плотность металлов лучше, чем таблицу умножения. Чистая бронза такого объема должна была быть либо почти невесомой (если это тонкостенная отливка), либо неподъемной. Эта же гидрия нарушала законы физики: она тянула руку вниз вязко, словно сосуд был заполнен не воздухом, а мокрым песком или свинцовой дробью. Центр тяжести постоянно смещался, пытаясь вырваться из пальцев.

Он наклонил сосуд, прислушиваясь. Внутри что-то глухо стукнуло о стенку — тяжелый, плотный звук органики о металл. Не звонкий лязг монеты и не сухой треск камня. Звук живого сустава. Марк осторожно встряхнул гидрию. Содержимое сдвинулось с тихим шорохом — так перекачиваются костяшки домино в коробке или сухие фаланги пальцев.

На дне, под толстым слоем вековой грязи, что-то белело в полумраке ниши. Он просунул мизинец внутрь, стараясь не касаться стенок. Подцепил предмет, чувствуя, как тот сопротивляется, цепляясь за патину высохшими жилками.

Когда он вытащил его на свет, это оказалось не монетой и не украшением. Это было костяное стило — тонкая палочка для письма, длиной с указательный палец. Кость пожелтела до цвета старого янтаря, но символы, вырезанные на ней, казались абсолютно свежими, нетронутыми временем. Они пахли озоном.

Марк поднёс стило к глазам. Кости было сотни лет — желтизна уходила в коричневое, поверхность была пористой, как старый кофе. Но символы были свежими, чёткими, словно вырезанные вчера. Приглядевшись, Марк понял, что это не буквы, а схематичные рисунки, вырезанные один за другим, как кадры на плёнке: стрела, пронзающая яблоко; две сплетенные лозы, обвивающие какой-то столб; фигура человека с головой птицы — длинный клюв, раскинутые крылья.

Марк снова поднял телефон. Сфотографировал стило — пять кадров с разных ракурсов. Пальцы слушались плохо — руки были ледяные, хотя в квартире было душно.

Внезапно свет в коридоре моргнул. Раз, другой. Третий раз — и погас. Из разбитой лампочки на потолке посыпались искры — мелкие, белые, пахнущие озоном, как перед грозой. Не летней, августовской, а какой-то другой — холодной, высоко в стратосфере, где молнии бьют без грома. Запах озона был резким, болезненно-чистым, он выжег пыль из воздуха за секунду, и Марк вдруг понял, что дышит легко — впервые с тех пор, как вошёл в квартиру.

Тишина стала плотной, осязаемой. Она давила на барабанные перепонки, как вода на глубине. Не было слышно ни гула пробок за окном, ни шагов Петровича, ни скрипа старых половиц. Только тишина — сплошная, как стена.

— Началось, — прошептал чей-то голос прямо над ухом Марка.

Голос был сухим, как шелест пергамента, и совершенно лишённым пола — ни мужской, ни женский, ни детский. Он звучал так, будто говорящий привык к тому, что его слышат все, и не считал нужным повышать голос.

Марк резко обернулся. Никого. Только коридор — длинный, тёмный, с ободранными обоями и дверью в конец, где лестница вела на второй этаж, в кабинет прадеда. И Петрович, застывший внизу лестничного пролёта с разводным ключом в руке, глядящий куда-то вверх с выражением лица, которое Марк не сразу распознал. Не страх. Не удивление. Скорее — узнавание. Как будто сантехник увидел старого знакомого, которого не ждал.

— Чего встал, Сергеич? — крикнул Петрович снизу, и голос его звучал глуше, чем должен был, словно воздух между ними загустел. — Труба опять рванула. Наверху, где кабинет этого вашего... писателя-изгнанника. Весь потолок мокрый. И знаете, что странно — вода тёплая. И пахнет не хлоркой, а... мёдом, что ли? Как будто пчёлы живут в трубах.

Кабинет прадеда Ивана. Место, которое Марк обходил стороной с тех пор, как мать впервые привела его сюда ребёнком. Там стояла старая печатная машинка «Ундервуд», чёрная, с круглыми клавишами цвета пожелтевшей кости, и Марк помнил, что смотреть на неё было почему-то жутко — не потому что она была старой, а потому что каретка была отодвинута влево, словно кто-то остановился на середине слова и больше не вернулся.

Он взлетел по лестнице, перепрыгивая через две ступени. Ступени скрипели по-разному — каждая своим голосом, как клавиши расстроенного рояля. Дверь в кабинет была приоткрыта. За ней — темнота, пахнущая бумагой, озоном и чем-то сладковатым, чего Марк не мог определить.

За столом, положив ногу на ногу, сидел человек.

Он был одет в безупречный льняной костюм песочного цвета, сшитый на заказ — ткань лежала так, как лежит только ручной крой, без единой складки, без единой морщинки. Мода на такие ушла лет пятьдесят назад, но на нём костюм выглядел не старомодно, а вне времени — как античная статуя вне эпохи. Его лицо было невозможно запомнить: черты правильные, но смазанные, словно смотришь на отражение в воде, по которой кто-то провёл пальцем. Единственное, что выделялось — глаза. Глубокие, влажные, насмешливые. Тёмные, с вертикальным зрачком, как у козла. Глаза козлоногого бога.

— Тесновато у тебя для Олимпа, зодчий, — сказал гость, лениво постукивая пальцами по столешнице.

От его прикосновений по дереву побежала легкая древесная гниль — не разрушение, а скорее рост: тёмные линии расплзались от кончиков пальцев, складываясь в узор виноградной лозы. Лоза ветвилась, завивалась, набухала крошечными почками, которые тут же раскрывались листочками. Стол прадеда — массивный, дубовый, с медными углами — жил под руками гостя, как живое существо.

Марк увидел это — и внутри что-то треснуло. Не от страха. От профессионального ужаса: дубовый стол начала XX века, ручной работы, с патиной, которую наживали сто лет, — портился на глазах. Лоза вгрызалась в поверхность, оставляя борозды, которые невозможно было зашпаклевать.

— Но вид открывается неплохой, — гость кивнул в сторону окна, выходящего на Москву-реку. За стеклом стоял августовский вечер, тяжёлый от смога и предвечернего света. — Особо отсюда. Сколько душ ты замуровал в свои стеклобетонные саркофаги ради вида на воду, зодчий? Три тысячи? Пять? Не скромничай — я считал.

— Кто вы такой? — выдавил Марк. Горло пересохло, язык прилип к нёбу. Рука машинально потянулась к телефону в кармане — и наткнулась на дневник. — Я вызываю охрану.

— Охрана спит, — усмехнулся гость. Усмешка была ленивой, хищной, с лёгким привкусом снисхождения, какое боги испытывают к смертным, которые грозят им охраной. — Им снятся их ипотеки. И отпуска на Мальдивах, которые они никогда не купят. Не дергайся, Марк Сергеевич. Я пришёл не за твоей душой. Душа у тебя, прости, скучная — бетон марки М500, армированная страхом перед несовершенством. Я пришёл напомнить тебе о долге.

Гость щёлкнул пальцами. Костяное стило, которое Марк сжимал в кулаке — он даже не помнил, когда сжал его, — обожгло кожу раскалённым железом. Марк разжал руку с коротким вскриком. Сило упало на чертёжный стол прадеда и вонзилось в ватман, пробив его насквозь и застряв в дубовой доске — вертикально, как кинжал, как гвоздь, как стрела.

Ватман вокруг стила почернел. Дырка не была просто дыркой — края оплавилась, закрутились внутрь, как воронка. От бумаги шёл запах жжёного пергамента.

— Семь семян, Марк, — гость наклонился вперёд. Тень на стене за ним сдвинулась, и в полумраке проступил силуэт — не человеческий. Рога. Раздвоенные копыта. Гибкий торс, переходящий в козлиные ноги. — Иван посадил их в очень плохую почву. Война, голод, страх, измена жены. Земля была каменистой, удобрена горем. Но они проросли. Шесть — уже взошли. Теперь твоя очередь возделывать сад. Первый росток тянется к свету. Поздравляю, кстати. Девочка будет. Вся в мать — такая же громкая. Любит небо.

Последние два слова упали в тишину, как камень в колодец. Марк почувствовал, как пол уходит из-под ног — не физически, а где-то внутри, в том месте, где живут убеждения, расчёты и уверенность в том, что мир подчиняется законам физики.

— Откуда вы знаете?.. — выдавил он. Голос был не его — чужой, сдавленный, из того места, где живут убеждения. — Мы не знаем пол. Врач сегодня сказал, что развитие правильное, но пол на УЗИ пока нечётко видно. Мы не знаем.

— Интуиция, — подмигнул гость. Правый глаз, с вертикальным зрачком, моргнул медленно, как у кошки. — Самая точная из наук. Древние называли её даром Гермеса. А ты думал, что архитектура — это про бетон? Архитектура — это про то, как держать пустоту. Скоро тебе понадобится это умение.

Он встал. Был выше Марка на голову — или казался выше. Лённой костюм лежал безупречно, но на мгновение Марк увидел — или ему показалось — что под тканью нет тела. Только воздух, свет и запах мёда.

— А теперь иди домой, — сказал гость мягче. — Жена ждёт. Цвет стен должен быть небесно-голубым. Ника любит небо.

Имя ударило Марка под дых. Ника. Они ещё не знали пол. Врач промолчал — сказал лишь, что плод развивается правильно, и что видно будет через месяц. Они не выбирали имя. Они не обсуждали имя. Они даже не знали, кого ждут — мальчика, девочку, двойню, кого угодно. И вот — незнакомец с копытами называет имя, которого не существует ещё нигде, кроме как в голове Бога.

— Как вы... — начал Марк... и воздух там, где он сидел, дрогнул и сложился обратно, как вода, заполнившая лунку.

Он не растворился, не вышел, не выскочил в окно. Просто — был и не было. Как если бы кто-то выключил канал. На стуле остался тонкий слой строительной пыли, сложившийся в идеальный отпечаток — не ноги, не обуви. Копыта. Раздвоенные, мелкие, с чёткими следами двух пальцев и короткого следа рудиментарных боковых копытцев.

Воздух пах озоном и мёдом. «Ундервуд» на столе стоял с отодвинутой влево кареткой — как всегда, как сорок лет назад, как в день, когда Иван перестал печатать.

В кармане пальто снова заверещал телефон. Лена. Марк стоял в пустом кабинете, смотрел на отпечаток копыта на стуле, на стило, торчащее из пробитого ватмана, на лозу, врезанную в поверхность дубового стола, — и не мог заставить себя взять трубку. Руки не слушались. Ноги не слушались. Только сердце работало — ровно, упрямо, как единственный механизм, который не сломался в этой комнате, полной сломанных законов физики.

Телефон замолчал. Потом снова завибрировал. Марк заставил себя сделать шаг. Потом второй. Петрович стоял внизу, прислонившись к стене, и курил — откуда сигарета, Марк не видел. Сантехник посмотрел на него снизу-вверх своим единственным зрячим глазом.

— Нашли, что искали, Сергеич? — спросил он тихо. Голос был не насмешливый. Участливый. Как у человека, который знает, каково это — встретить то, чему нет названия.

— Я не знаю, что я нашёл, — ответил Марк. И это была самая честная фраза, которую он произнёс за весь день.

Он медленно достал дневник. Открыл на странице, где лежали лепестки. Между сухими, прозрачными кусочками растения зияла пустота. Первого, самого белого и свежего лепестка — того, что ещё хранил цвет слоновой кости, — там больше не было. Только крошечная кучка пыли на месте, где он лежал.

Марк провёл пальцем по пустоте. Пыль была тёплой. Он поднял руку к лицу — и увидел на подушечке среднего пальца тончайшую, почти невидимую плёнку. Первый лепесток не исчез. Он впитался — в бумагу, в кожу, в воздух.

На дне кармана пальто что-то мягко кольнуло. Марк опустил руку — и нащупал то, чего там не было. Маленькое, сухое, невесомое. Он сжал пальцы, достал — и увидел на ладони белый лепесток пиона. Свежий. Не увядший, не пыльный — живой, как будто его только что сорвали с куста, который цветёт где-то в другом месте, в другом времени, где сейчас не август, а июнь, и не Москва, а сад, которого нет на картах.

Лепесток был тёплым. Он пульсировал — едва заметно, как пульсирует кровь под кожей запястья.

Марк закрыл ладонь. Лепесток обжёг кожу коротким, сладким уколом — не больно, а как-то интимно, словно прикосновение чужого пальца к закрытому веку. Это было тепло живого тела, пульс самой земли, спрятанный внутри хрупкой оболочки. Жизнь.

Он вышел из кабинета прадеда, плотно притворив за собой дверь. Спустился по лестнице, стараясь не смотреть на винтовую балюстраду. Петрович всё так же стоял внизу, прислонившись к стене, и курил. Сигарета догорела почти до фильтра, но столбик пепла держался вопреки гравитации — сизый, плотный. Он посмотрел на Марка своим единственным зрячим глазом, медленно выпустил дым через ноздри (второй, мутный глаз продолжал жить своей жизнью, глядя в пустоту) и хмыкнул:

— Труба там... успокоилась. Сама. Перестала петь. Только воняет теперь мёдом и озоном. Странная смесь для канализации.

Марк ничего не ответил. Сунул руки глубоко в карманы кашемирового пальто. Пальцы наткнулись на дневник Ивана — он прижимался к груди слева, тёплый, тяжёлый, живой. А справа, в кармане брюк, лежало что-то ледяное.

Он остановился посреди прихожей. Посмотрел на стул, где сидел гость. На старом гобелене с выцветшими оленями темнело пятно. Оно не было мокрым или грязным. Оно выглядело как кусок выжженного пространства — идеально ровной формы, повторяющий силуэт сидящего: две узкие щели вместо бёдер, острые углы коленей.

Марк опустил на корточки. Протянул руку, чтобы коснуться края пятна кончиками пальцев, но замер в миллиметре от него. Воздух над обивкой стула был градусов на десять холоднее, чем во всей квартире. Это был не холод сквозняка. Это была абсолютная нулевая

температура космоса. Холод Танатоса. Смерть, которая уже случилась и просто ждала момента проявиться в физическом мире. Мёртвый мрамор вечности, высосавший цвет из ткани.

Марк резко отдёргнул руку. Встал. Ему вдруг стало невыносимо тесно в этой квартире, среди консервированных запахов 1974 года и следов божественного присутствия.

Он вышел на лестничную клетку. Дверь за ним закрылась с тихим щелчком замка. Звук прозвучал глухо, ватно — квартира отрезала себя от внешнего мира, запечатав внутри себя два противоположных полюса: жар жизни и лёд смерти.

На улице августовский вечер ударил Марку в лицо влажной духотой. Москва шумела, дышала смогом, мигала фарами. Обычный вторник. Мир людей продолжался, не заметив трещины в фундаменте реальности.

Марк достал телефон. Экран загорелся, освещая его лицо синим светом. Двадцать пропущенных. Лена звонила снова минуту назад. Палец сам нажал кнопку вызова. Она ответила мгновенно, без «привет», сразу обрушив на него лавину звуков: гул машин на фоне, её собственное дыхание и какой-то треск разворачиваемой бумаги.

— Где тебя носит?! Я купила шесть оттенков голубого! Небесный, пыльный, стальной, тиффани, перламутровый и этот... как яйцо малиновки! Они все разные, Марк! Как я должна выбрать цвет неба для человека, который ещё даже не решил, хочет ли он дышать?!

Марк остановился под фонарём. Свет упал вниз жёлтым кругом, выхватывая из сумерек асфальт, покрытый серой пылью. Он разжал правую ладонь. Белый лепесток лежал на коже, сияя собственным внутренним светом. Он действительно пульсировал — едва заметно, в ритме человеческого сердца, согревая пальцы сквозь тонкую шерсть перчатки. Эрос. Начало.

— Выбери тот, который светится в темноте, — сказал он тихо. Голос звучал ровно, но в нём появилась новая вибрация — низкая, глубокая, похожая на звук туго натянутой тетивы. — Ника любит небо. Настоящее.

Лена на том конце провода замолчала. Было слышно только, как далеко, наверное, возле неё, кто-то просигналил.

— Откуда ты... — Интуиция, — перебил он, и уголок его губ дрогнул в подобии улыбки. — Дар Гермеса. Еду. Через двадцать минут буду дома.

Он убрал телефон. Раскрыл левую ладонь. Там, где секунду назад казалось пусто, теперь проступал идеальный отпечаток раздвоенного копыта. Но это была не грязь и не ожог. Кожа сама стала гладкой, блестящей, белоснежной и абсолютно, мертвенно-холодной. Холод пробирал до кости, вымораживая пот. Тёплая жизнь в правой руке. Мёртвая вечность в левой.

Марк сжал обе ладони в кулаки. Боль от контраста температур пронзила предплечья, сошлась в груди и вспыхнула единым огнём. Он больше не чувствовал страха перед несовершенством. Архитектор наконец понял главный закон несущих конструкций: Храм стоит только тогда, когда одна стена тянется к солнцу, а другая уходит в сырую землю.

Он шагнул в сторону метро, растворяясь в толпе, унося в себе вес обоих миров.

Часть вторая. Семя второе: Угар

Лифт в сталинке пах мокрой псиной и чужими котлетами. Клетка из полированного металла и зеркальных панелей, тронутых ржавчиной по нижнему краю, ползла вниз с мучительной медленностью, останавливаясь на каждом этаже — хотя на каждом этаже никого не было. Просто лифт был старый и капризный, как пенсионер, которому везде нужно передохнуть.

Марк прислонился лбом к холодному металлу дверей. Металл был таким холодным, что обжигал — приятно, как ледяная вода на запястье при лихорадке. Дрожь в коленях не унималась. Сердце билось где-то в горле, мешая дышать спёртым воздухом подъезда — воздухом, в котором за семьдесят лет намешались запахи чужих ужинов, кошачьей мочи, хлорки и тоски. Копыто. На рабочем столе прадеда остался отпечаток копыта. Рациональный ум архитектора Марка Сергеевича пытался найти логическое объяснение: старая ножка антикварного шкафа, отпечаток ботинка с необычным рисунком подошвы, галлюцинация от асбестовой пыли, наконец. Может, всё это — нервный срыв. Первый в жизни. Сорок два года без единого срыва, и вот — пожалуйста. Пыль, перегрев, стресс от перспективы отцовства — и мозг выдаёт галлюцинацию в виде козлоногого мужчины, который знает имя его нерождённого ребёнка.

Но костяное стило всё ещё жгло карман пальто сквозь плотную шерсть, напоминая о себе тупой, пульсирующей болью — как заноза, которую не удалось вытащить, и которая теперь вросла в мясо. И белый лепесток пиона лежал в другом кармане, тёплый и живой, словно срезанный минуту назад. Занозы не галлюцинируют. Лепестки не пульсируют.

Лифт достиг первого этажа с глухим ударом, от которого зубы лязгнули. Двери разъехались с протяжным скрежетом — одна застряла на полпути, и Марку пришлось протискиваться боком, задев плечом за ребро металла. Выйдя на улицу, он остановился и сделал глубокий вдох.

Августовский вечер душил Москву бензиновым перегаром. Воздух был тёплым, влажным, вязким — как простыня, которой накрыли больного. Над Садовым кольцом висел рекламный щит: лицо какой-то поп-дивы, подсвеченное фиолетовым неонам, обещало вечную молодость за цену двух чашек кофе. Дива улыбалась идеально симметричной улыбкой — такой, какую Марк рисовал на фасадах своих зданий: ровной, стерильной, без единой трещины. Он вдруг подумал, что улыбка эта — лучший памятник его поколению: красивая, пустая и оплаченная спонсором.

Москва гудела. Пробки на набережной стояли плотно — машины ползли бампер в бампер, отражая закат в сотнях лобовых стёкол. Где-то за рекой, в Москве-Сити, его стеклянная башня ловила последние лучи и горела, как маяк для тех, кто ещё верит, что высота — это то же, что и величие. Марк посмотрел на башню. Обычно это зрелище давало ему покой — вот, мол, стоит, держится, несёт нагрузку. Сегодня башня выглядела как надгробие. Очень красивое, очень дорогое надгробие над могилой его вчерашней уверенности.

Он достал телефон. Экран светился в темноте, как маленький белый флаг. Двадцать пропущенных от Лены. Двадцать. Последние пять — с интервалом в минуту, последние два — подряд, без паузы. Это значит, что она перестала звонить и начала злиться по-настоящему.

— Да! — рывкнул он в трубку, едва не выронив аппарат. Пальцы были ледяными, не слушались. — Я еду!

— Едешь? — голос жены сочился ледяным сарказмом — тем особенным тоном, который Лена брала, когда ей было не столько обидно, сколько страшно, и она прятала страх за острыми словами, как прячут синяки под длинными рукавами. — Ты «едешь» уже сорок минут, Марк. За это время твой ребёнок успел вырасти из фасолины в хорошую такую перчинку, а я успела вызвать такси до твоего офиса, думая, что ты там спишь на чертежах. Где ты?

— Я... был на объекте. Пробки, — соврал он так неумело, что самому стало стыдно перед пустотой. Врать Марк не умел вообще — не научился, не пришлось. Его профессия требовала точности, а точность и ложь несовместимы, как бетон и соль.

— Объект называется «Квартира твоей мёртвой прабабки», Марк. И пробки там только тараканы. У тебя голос как у человека, который видел призрака.

Она была права. Он знал, что она права, потому что Лена всегда была права насчёт его голоса — она читала его, как слепой читает азбуку Брайля, кончиками пальцев по каждому колебанию. Марк закрыл глаза. Нужно было сказать что-то — хоть что-то, — что не было бы правдой, но и не было бы такой откровенной ложью, от которой хочется провалиться.

— Лена, я... нашёл кое-что. В стене. Я не могу объяснить по телефону. Приезжай.

Пауза. Долгая, заполненная только гулом пробок и далёким воем сирены.

— Ты пьян? — спросила она другим голосом — тише, осторожнее, как врач, который слышит в симптоме что-то, о чём пока не говорит пациенту.

— Нет. Я абсолютно трезв. И именно поэтому мне нужно выпить.

Он убрал телефон, не дожидаясь ответа. Ноги сами понесли его обратно во двор высотки — под столетние липы, которые пахли мёдом так же, как квартира пахла нафталином. Липы были огромные, посаженные, наверное, одновременно с домом, и их кроны переплетались над двором, образуя зелёный тоннель, сквозь который пробивались последние лучи заката. Под ногами хрустели мелкие ветки и шелестели листья — звук, который в другое время показался бы Марку приятным, почти деревенским, но сегодня был лишь фоном для гула в голове.

Ему нужно было выпить. Не элитный односолодовый виски, которым он обычно успокаивал нервы после сдачи проектов, — не Beam, не Lagavulin, не что-то с описанием вкуса, включающим слова «торфяной» и «длинное послевкусие». Ему нужно было что-то дешёвое, обжигающее горло, способное сжечь слизистую вместе с воспоминанием о раздвоенных копытах, о лозе, растущей из дуба, о голосе, который знал имя его дочери. Дочь. Он подумал это слово — «дочь» — и внутри что-то сдвинулось, как камень в желчном пузыре: больно, но необходимо. Дочь. Ника. Имя, которого он не выбирал. Имя, которое выбрал за него кто-то — или что-то — с глазами козла и голосом пергамента.

Тихий подвальный бар «Сквозняк» нашёлся в соседнем переулке — между аптекой и магазином «Магнит», по лестнице вниз, за железной дверью, на которой висел картонный лист со словами «СКВОЗНЯК» фломастером. Место дышало девяностыми: прокуренный полумрак, в котором плавали дымные столбы, как духи непрожитых жизней; липкие столешницы цвета венозной крови — тёмно-бордовые, с разводами от пролитого пива и кругами от стаканов, которые никто не протирал; телевизор «Рубин» в углу, транслирующий беззвучный футбол, в котором маленькие человечки бегали по зелёному полю с бессмысленным рвением муравьёв. Пахло прокисшим пивом, табаком, жареным луком из кухонного закутка и чьим-то застарелым потом — запахом, который въелся в стены так глубоко, что стал архитектурой.

Марк упал на высокий стул у стойки. Стул качался — одна ножка была короче других, и Марк машинально отметил это с профессиональным раздражением: нарушение геометрии, нужно подложить прокладку. Потом он устал быть архитектором и просто сел криво, приспособившись к несовершенству, как приспосабливаются к неровному матрасу в гостинице.

Бармен, огромный детина с лицом, состоящим исключительно из хрящевых наростов — нос, уши, надбровные дуги, всё будто слеплено из пластилина неумелой рукой, — молча выставил перед ним стакан и бутылку водки. Стакан был нечистый, с отпечатками пальцев на бортике. Бутылка — «Пять Озёр», дешёвая, без этикетки с претензией на премиум. Обычная вода жизни, как её называли в местах, где жизнь стоила дёшево.

— Стопками не по-пацански? — хмыкнул Марк, глядя на гранёный стакан, который бармен поставил вместо стопки.

— С твоего лица сейчас штукатурка осыплется, — пробасил бармен, не глядя на него. Он протирал стойку грязной тряпкой, которая, судя по цвету, когда-то была белой. — Пей залпом. Легче станет, когда желудок сгорит быстрее мозга. А мозг у тебя, я вижу, перегрелся. Бывает. У нас тут все такие ходят — архитекторы, программеры, менеджеры. Приходят с горящими глазами, уходят с пустыми. Ты — из каких?

— Из горящих, — ответил Марк и налил.

Первая стопка прошла как вода — безвкусно, без сопротивления. Организм был настолько вымотан, что алкоголь просто впитался, как в песок.

Вторая — теплее. Появился вкус: спирт, слабая горечь, привкус чего-то медицинского. В животе разлилось тепло — не то, приятное, от виски, а грубое, тупое, как удар кувалдой по кирпичной стене. Стена дала трещину.

Третья ударила по глазам. Контуры бара размылись, как акварель под дождём. Телевизор превратился в зелёное пятно. Лицо бармена — в месиво хрящей. Боль от стила в кармане утихла, сменившись приятным гулом — как будто кто-то выключил сирену и включил вентилятор. Марк налил четвёртую, но не стал пить — держал стопку в пальцах, глядя, как водка дрожит мелкой рябью от вибрации стойки. Руки больше не дрожали. Или дрожали — но он уже не замечал.

— Свободно?

Рядом плюхнулась девушка. Не села — именно плюхнулась, с тем бесцеремонным отсутствием манер, которое бывает либо у очень пьяных, либо у очень уверенных. Марк повернул голову.

Она была... не красива и не некрасива — она была из той породы, которую Марк презирал всей душой офисного планктона: винтажное платье в горох, выцветшее, как будто снятое с бабушкиного плеча; растрепанные волосы цвета тёмной меди, которые явно не видели расчёски с утра; идеальная бледность — не больная, а фарфоровая, как у статуэток в Ленином музее. И глаза — глаза такой пронзительной зелени, что казалось, они светятся в темноте бара, как два светофора, мигающих «иди сюда».

От неё пахло озоном — тем же самым, чистым, выжигающим запахом, который Марк впервые ощутил в квартире прабабки Зои, когда моргнул свет. И дождём — свежим, летним, как будто она только что вышла из грозы и не потрудилась обсохнуть. И ещё — горьким миндалём. Запах, который Марк знал по одному: так пахнет цианид. Или — так пахли абсент и духи, которые носили женщины, не боящиеся отравлений.

— Теперь занято моим личным пространством, — буркнул Марк, отодвигаясь на своем кривом стуле. Стул предательски скрипнул.

Но она уже махнула бармену — рукой с тонкими пальцами и обломанным ногтем на мизинце, как у человека, который копается в земле или в книгах.

— Два того же, чем травится этот эстет. И без стакана. Стопками. Если человек в костюме за триста тысяч сидит в баре «Сквозняк» и пьет «Пять Озёр» из гранёного стакана, значит, мир перевернулся. Я хочу быть рядом, когда он упадёт.

Она выпила свою порцию профессионально — одним движением, без морщинки, даже не поморщившись. Как пьют люди, для которых водка — не событие, а приём. Закурила тонкую ментоловую сигарету, щёлкнув зажигалкой Zippo с гравировкой. Марк уловил рисунок на металле: крылатые сандалии. Маленькие, изящные, с крошечными крыльями на пятках. Сандалии Гермеса.

— Тяжёлый день, архитектор? — спросила она, выпустив кольцо дыма прямо в лицо Марку. Кольцо медленно поплыло, расширяясь, и рассыпалось, когда достигло его носа. Дым пах не табаком — пах пылью древних библиотек, как тысячи рук, перелистывавших тысячи страниц, и ещё — чем-то сладковатым, как мумия в музее.

— А вы кто? Ночной контроль качества алкоголя? — огрызнулся он, чувствуя, как внутри просыпается что-то незнакомое — дерзкое, пьяное и злое. Как будто кто-то другой забрался в его тело и начал рулить. Кто-то моложе, наглее, кому плевать на ГОСТы и несущие конструкции.

— Почти, — она улыбнулась, обнажая зубы. Клыки — или просто игра света в прокуренном баре? — блеснули. — Я аудитор заблудших строителей. Видела твоё выступление на TEDx про «Вертикальные сады будущего». Очень трогательно. Особенно момент, где ты говоришь, что бетон имеет душу. Душу, Марк, — она произнесла это слово так, как произносят имя покойника за поминальным столом: с лёгким уважением и полным неверием. — Бетон с душой. Это как проститутка с моралью — теоретически возможно, но практически скучно.

— Бетон — это застывшая логика, — автоматически процитировал Марк самого себя пятилетней давности. Он помнил то выступление: сцена, микрофон-петличка, слайд за слайдом — графики, расчёты, фасады. Аплодисменты. Он был тогда на пике — молодой, уверенный, не знающий, что через два года Лена забеременеет, и всё, что казалось незыблемым, начнёт трескаться. — Эмоции разрушают несущие конструкции.

— Именно поэтому твоё личная конструкция сейчас трещит по швам, — она наклонилась ближе. Её зелёные глаза потемнели, становясь почти чёрными, как вода в болоте, где под поверхностью прячется трясина. — Тебе оставили подарок, Марк. Древний долг. А ты пытаешься залить его бетоном марки М500. Так не работает. Рванёт. И не через год, а сегодня. Может, через час. Может, через минуту.

Марк замер. Рука со стаканом застыла на полпути ко рту. Водка дрожала в стакане — мелко, быстро, как пульс.

Вокруг стоял обычный шум дешёвого бара: звон бокалов, мат дальнобойщиков за угловым столом, бормотание телевизора, чей-то смех, чей-то кашель, хлопок пробки из бутылки шампанского — видимо, кто-то отмечал что-то, не имеющее отношения к концу света. Но слова этой странной девушки прозвучали в абсолютной тишине — не в баре, а прямо у него в голове, как будто она говорила не ртом, а напрямую в мозг, обходя барабанные перепонки.

— Откуда... — начал он, и голос его был хриплым, чужим.

— Интуиция, — перебила она, и Марк похолодел: это было то самое слово, та самая интонация. «Интуиция. Самая точная из наук. Дар Гермеса.» Так сказал гость в кабинете. Точь-в-точь. — Меня зовут Ирида. И нет, я не принесу тебе радугу, чтобы ты мог красиво уйти из жизни. Я здесь, потому что первый лепесток сорван. Время пошло.

Она бросила на стойку смятую купюру — пятирублёвую, бумажную, старого образца, которую Марк не видел лет двадцать. Купюра легла рядом с его недопитым стаканом, и водка вдруг помутнела — или показалось.

— Подожди, — Марк схватил её за запястье. Рефлекс — не галантный, а отчаянный, как хватаются за край лодки, когда ноги уже в воде. Кожа девушки была ледяной — не прохладной, а именно ледяной, как металл на морозе. — Что значит «долг»? Какая девочка? Кто ты такая?

Ирида посмотрела на его руку, сжимающую её предплечье. Там, где её кожа соприкасалась с манжетой его рубашки — дорогой, египетский хлопок, за который Лена ругала его каждый раз, когда приходил счёт из химчистки, — ткань начала медленно истлевать. Не гореть — истлевать. Нити расходились, цвет уходил, хлопок превращался в серую труху, которая осыпалась на стойку, как пепел.

Марк отёрнул руку. Манжета рубашки — левая — была уничтожена. От неё остался рваный край, открывавший запястье с часами Patek Philippe. Швейцарские, дорогие, купленные в тот год, когда он получил первый контракт на башню в Москве-Сити. Часы показывали 23:47. Точное время — он всегда знал точное время, до секунды, это было частью его мании контроля — но сейчас он подумал, что часы показывают не время. Они показывают дату. Дату смерти его прежней жизни.

— Я вестник, дурачок, — мягко сказала Ирида. Мягкость была странной — не человеческой, а стихийной, как мягкость тёплого ветра перед ураганом. — А долг прост. Вы живёте дольше нас. Ваша любовь стала вязкой, скучной, как вчерашний кисель. Вы забыли, каково это — сходить с ума. Иван понял это поздно, когда жена уже превратилась в памятник самой себе. Тебе дали второй шанс. Посади семена. Но учти: почва должна быть отравлена страстью. Без яда цветов вырастет бумажным.

Она высвободила руку — легко, без усилия, как из воды. Истлевший рукав рубашки Марка опал на стойку серой трухой. Бармен за стойкой не видел ничего — он протирал стаканы, глядя в телевизор, где футболисты продолжали бегать по зелёному полю, ничего не зная о гибели миров.

— Куда мне идти? — крикнул он ей вслед, перекрывая гул толпы — толпы, которая не слышала его, потому что гул был обычным, а крик — нет.

— Никуда, — обернулась она в дверях. Свет неоновой вывески снаружи — «АПТЕКА», красные буквы, — на секунду подсветил её силуэт. И в эту секунду Марк увидел — или ему показалось, потому что водка и стресс — что за спиной девушки, из-под выцветшего платья в горох, мелькнули огромные, влажные, радужные крылья. Не бабочки. Не птицы. Стрекозы — с сетью жилок, пронизанной светом, с радужным отливом, как бензиновая плёнка на воде. Крылья дрогнули — и исчезли. — Они сами придут. Второй росток любит театр и дешёвые понты. Держись подальше от пластиковых стаканчиков. И да, Марк...

Она сделала паузу. Стоя в дверном проёме, полулицом — одна щека в свете неона, другая в тени. Наслаждайся моментом — сполна, с аппетитом существа, для которого драма — не бремя, а пища. — Позвони жене. Скажи, что любишь зелёный. Она хочет красить детскую в цвет надежды, а получит цвет плесени, если ты будешь молчать. Зелёный — это не надежда, Марк. Зелёный — это яд, который заставляет расти. Самое важное, что случится с тобой, начнётся не с неба и не с огня. Оно начнётся с цвета стен.

Дверь хлопнула. Колокольчик над дверью звякнул — тонко, жалобно, как в лавке, где продают старые вещи. Ирида ушла. Запах озона, дождя и горького миндаля остался — повис в воздухе, как дым от погасшей свечи.

Марк сидел один посреди гудящего бара с наполовину сгоревшим рукавом и абсолютно трезвым, ясным рассудком. Водка больше не брала — три стакана, и всё, как водой. Тело метаболизировало алкоголь с пугающей скоростью, как будто печень работала на каком-то другом топливе. Страх тоже отступил — не ушёл, а отступил на шаг, как отступает прилив, оставляя мокрый песок и ракушки на берегу. На его месте осталось звенящая пустота и дикий, необузданный интерес к тому, что будет дальше.

Это чувство он последний раз испытывал в двадцать лет, когда впервые выиграл студенческий конкурс проектов, украв идею у мёртвого японского авангардиста — не украв, а вдохновившись, как он себе говорил, — и понял, что мир не имеет ни малейшего представления о своих возможностях. Тогда он не спал трое суток, рисуя фасады, которые ломали все правила. Сейчас — то же тело, та же дрожь в пальцах, тот же голод. Не голод еды — голод неизвестного.

Он посмотрел на свои руки. Они больше не дрожали. Обе — левая, с голым запястьем и дорогими часами, и правая, с манжетой, уцелевшей от проказы Ириды, — были спокойны. Пальцы — длинные, с мозолями от карандаша и линейки, с мозолью на среднем пальце правой руки, которую Лена называла «архитектурской мозолью» — были неподвижны, как у хирурга перед операцией.

На дне пустой стопки лежал второй лепесток. Он был ярко-алым — цвета свежей артериальной крови, не венозной, не бордовой, а именно алой, какой бывает кровь только в первый миг, когда она ещё не встретила воздух. Лепесток слегка вибрировал, словно пойманное сердце колибри — маленькое, бешеное, не желающее останавливаться.

Марк осторожно достал его. Лепесток обжёг пальцы — не холодом, как первый, белый, а жаром, как уголёк. Но жар был приятным — как прикосновение горячего лба к щеке, когда проверяешь температуру у любимого человека. Он пульсировал в такт — с чем? С сердцем? С чем-то другим, чем-то, что билось где-то за пределами его тела?

Телефон снова завибрировал. На экране горело фото Лены — сонной, растрёпанной, счастливой, сделанное им пять лет назад в отеле в Риме. На фото она смеялась — глаза закрыты, волосы рассыпаны по подушке, простыня натянута до подбородка. Утро после первой ночи в отпуске. Он помнил, как думал тогда: «Я хочу просыпаться рядом с этим лицом каждый день». Пять лет спустя он просыпался рядом — но лицо было другим. Не менее любимым. Менее открытым.

Марк нажал кнопку вызова.

— Ленусь, — сказал он, и собственный голос показался ему чужим — глубоким и чуть хриплым от желания. Не от водки. От чего-то другого, что проснулось в нём, когда алый лепесток обжёг ладонь. — Приезжай ко мне на объект. Прямо сейчас. Забудь про такси. Я хочу показать тебе кое-что... очень старое. И нам срочно нужно купить зелёную краску. Самую ядовитую, какую найдёшь. Таковую, чтобы сводило скулы.

В трубке повисла тишина. Долгая. Марк слышал, как Лена дышит — быстро, коротко, как дышат, когда не понимают, но чувствуют, что что-то изменилось.

— Ты пил, идиот? — спросила она наконец. Но голос был другим — не ледяным, не язвительным. Осторожным. Как будто она стояла на краю чего-то и не знала, шагнуть или отступить.

— Я выздоравливаю, — ответил Марк, пряча алый лепесток в портмоне рядом с правами. Кожа портмоне была тонкой, и лепесток просвечивал сквозь неё — маленькое алое пятно, как капля крови на белом. — И кажется, у меня начинается острая аллергия на прямые углы.

Тишина. Потом — тихий смех. Не насмешка — смех. Короткий, судорожный, переходящий в вздох. Так смеются, когда отпускает — не от радости, а от облегчения, что то, что казалось мёртвым, ещё шевелится.

— Я выезжаю, — сказала Лена. — Если это шутка, я покрашу тебя в зелёный и повешу на балконе вместо флага.

Связь оборвалась. Марк положил телефон на стойку. Допил четвертую порцию — машинально, не чувствуя вкуса. Бармен посмотрел на него, потом на сгоревший рукав, потом снова на него.

— Батарея коротнула? — спросил он.

— Типа того, — ответил Марк. — Батарея коротнула.

Он встал. Стул под ним качнулся — и не упал. Марк вышел из бара, на улицу, в тёплый августовский вечер. Москва гудела, мигала, дышала. Обычный вечер. Обычный город. Но в кармане пальто лежали два лепестка — белый и алый — и костяное стило, которое жгло кожу сквозь шерсть, как живой уголь. И мир вокруг, с его пробками и башнями и поп-дивами на рекламных щитах, казался тонкой скорлупой, под которой билось, пульсировало, рвалось наружу что-то огромное, древнее и нетерпеливое.

Он ждал Лену у подъезда. Липы пахли мёдом. Где-то в глубине двора, за гаражами, кто-то играл на гитаре — неумело, фальшиво, но с таким рвением, что хотелось слушать. Марк стоял, прислонившись к стене дома, и впервые за день не думал ни о копытах, ни о стиле, ни о семи семенах. Он думал о том, какого цвета должна быть стена в детской, если ребёнка зовут Ника, и Ника любит небо.

Небо над Москвой было грязно-розовым — цвет заката, отражённого в смоге. Но если прищуриться и отодвинуть в сторону башни и рекламные щиты, то у горизонта, там, где город кончался и начиналось поле, небо ещё было голубым. Чистым, глубоким, как вода в горном озере.

Небесно-голубым.

Часть третья. Семья третья: Глина

Брак — это ипотека на вечность, где первоначальный взнос вносится телами, а проценты съедают нервную систему. Марк знал эту формулу лучше, чем таблицу нагрузок. До сегодняшнего дня их с Леной «здание» было монолитным каркасом бизнес-класса: надёжное, скучное, с панорамными окнами, выходящими на точно такое же здание напротив. Никаких трещин. Никаких усадок. И никакого тепла — потому что тепло, как знал любой архитектор, начинается с трещины, через которую внутрь проникает воздух.

Но сегодня фундамент дал трещину шириной в Гранд-Каньон.

Лена приехала через двадцать минут. На такси. Жёлтая «Волга» с табличкой «Такси» на крыше. Из тех, что ещё бегали по Москве, дышали бензином и хромированные боковины которых давно облупились до ржавчины. Машина остановилась у подъезда, и Лена вылезла из неё, как из окопа — быстро, решительно, сжав челюсти. В руках у неё была банка краски цвета «Садовая зелень» — настолько ядовито-яркого, что банка казалась источником света в сумерках двора — и пакет из пекарни, от которого пахло корицей, тёплым тестом и чем-то ещё, чему Марк не мог подобрать слова. Грехом? Нет. Предчувствием.

— Ты выглядишь так, будто тебя сбил курьер на электровелосипеде, — сказала она вместо приветствия, заходя в разгромленную квартиру. Пыль тут же осела на её кашемировое пальто — серым налётом, как пепел с неба. Она не заметила. Или заметила и не стала замечать. — И почему ты держишь руку так, словно там спрятана граната?

— Там дневник, — честно ответил Марк. — И стило. Оно горячее.

Он протянул ей кожаную обложку. Дневник лёг на её ладонь — потёртая кожа цвета жжёного сахара, медные уголки, инициал «И.К.» на внутренней стороне крышки. Лена работала искусствоведом в частном музее современного искусства — том самом месте, где квадрат Малевича считали слишком буржуазным, а банка с экскрементами художника — инвестиционным активом. Но к старым бумагам она относилась с трепетом патологоанатома — того особого трепета, который испытывает человек, привыкший читать по мёртвым телам историю живых жизней.

Она открыла страницу. Провела пальцем по почерку Ивана — медленно, как слепая, считывающая рельеф букв.

— Его руки тряслись, когда он это писал, — тихо произнесла она. Голос изменился — стал ниже, сосредоточеннее, как на работе, когда она датировала фреску или определяла подлинность по почерку мастера. — Смотри, как пляшет буква «д». Хвост уходит вниз и влево, потом дрожит. Это не старость. Старость даёт ровный тремор — мелкий, постоянный. Здесь — рывками. Это... экзальтация. Как у медиума. Или у человека, который пишет под диктовку голоса, который слышит только он.

— Он строил печь, — сказал Марк, наблюдая за ней. Лена читала дневник так, как читают рентгеновский снимок: видя не то, что написано, а то, что стоит между строк. — Из глины. Сам. Месил руками, обжигал. Черепки.

— Что может быть глупее? — фыркнула Лена, но глаза её загорелись профессиональным азартом — тем самым, который Марк видел, когда она находила в музейном фонде подделку, которую все считали подлинником, или наоборот. — Купить готовый кирпич гораздо логичнее. Зачем тратить жизнь на замес грязи?

— Чтобы согреться изнутри, — отозвался Марк. Он сам не знал, откуда пришла эта фраза. Может быть, из дневника. Может быть, из воздуха, который всё ещё пах озоном и мёдом. — Я хочу показать тебе кое-что ещё.

Он повёл её в кабинет прадеда. Лестница скрипела под их шагами — каждая ступень своим голосом, как в прошлый раз. Но сегодня скрип был тише, будто дом привык к присут-

ствию Марка и больше не протестовал. Кабинет пах озоном и властью — запах, который не выветрился за сутки, а, казалось, стал гуще, плотнее, как настойка, которую забрали из погреба и забыли закупорить.

Гидрия стояла на столе среди чертежей небоскребов, выглядя посреди стекла и алюминия, белой бумаги и синих линий, как живой динозавр в метро — невозможно, нелепо и абсолютно, пугающе настоящее. Пatina на бронзе тускло поблёскивала в свете единственной работающей лампочки — той самой, которая моргала вчера, но сегодня горела ровно, будто ничего не произошло.

Лена замерла. Она обошла стол кругом — медленно, профессионально шурясь, наклоняя голову то к одному боку сосуда, то к другому. Достала из кармана пальто маленький фонарик — карманный, музейный, с ультрафиолетовой подсветкой — и посветила на клеймо сбоку.

— Это подлинник, — прошептала она. Голос был таким, каким говорят люди, увидевшие то, во что не верили до последней секунды. — Аттическая работа. V век до нашей эры. Скорее всего, ритуальная — не бытовая, не для воды, а для жертвенных возлияний. Видишь клеймо? Это не «пси», как ваш Петрович сказал. Это «фи» — буква, которую ставили на сосуды, связанные с погребальным культом. Если выставить это на Сотбис, мы сможем купить остров и никогда больше не видеть твоего Петровича. Откуда...

— Оно выросло из стены, — перебил Марк. — Вместе с копытом.

Он рассказал ей всё. О дымном баре, о девушке со стрекозиными крыльями, об алом лепестке, который сейчас лежал в его портмоне, как пуля в обойме. О стиле, которое жгло карман. О дневнике, который пах пылью и сладкой гнилью. О лепестках — белом, который впитался в кожу, и алом, который всё ещё пульсировал. Рассказал ровным, почти без эмоциональным голосом архитектора, сдающего проект комиссии: факты, размеры, допуски, отклонения. Вот стиль — костяное, с символами. Вот дневник — кожаный, с инициалом. Вот гость — льняной костюм, глаза с вертикальным зрачком, отпечаток копыта на стуле. Вот Ирида — зелёные глаза, зажигалка Zipro с крылатыми сандалиями, рукав рубашки, истлевший от прикосновения.

Когда он закончил, воцарилась тишина, нарушаемая лишь гулом пробок далеко внизу — глухим, далёким, как шум моря, которого не видно. Лена стояла у окна, спиной к нему. Её плечи были напряжены — две прямые линии, как крылья птицы, готовой взлететь или упасть.

— Марк, — глухо прозвучало из-под ладоней. Она закрыла лицо руками — жест, который Марк видел редко, три или четыре раза за все годы. Один раз — когда умерла её мать. Другой — когда УЗИ подтвердило беременность. Это был жест человека, который держит что-то тяжёлое и не знает, куда поставить. — У нас под сердцем бьётся сердце. Наш гормональный фон сейчас напоминает химическую лабораторию после взрыва — прогестерон, эстроген, кортизол, всё вперемешку, всё выше нормы. Тебе сорок два года. Твоя нервная система не выдержала стресса переделки, и твой мозг синтезировал мифологию Древней Греции, чтобы справиться с ужасом отцовства. Это классический защитный механизм. Я читала об этом в «Вестнике психоанализа». Статья номер... не помню. Но суть в том, что психика подсовывает сознанию архетипы, когда реальность становится невыносимой.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.